



# КАСКАД

*повесть-катастрофа*

Эдуард Сероусов

Эдуард Сероусов

**Каскад**

«Автор»

2026

## **Сероусов Э.**

Каскад / Э. Сероусов — «Автор», 2026

Нина Раскова, пожилой аналитик ЦУПа, тридцать лет считает чужие орбиты — и десять лет предупреждает комитеты, что узкий слой пятьсот–шестьсот километров перенаселён. Её доклады возвращают с резолюцией «нерентабельная паника». Утром обычной смены Нина видит, как два аппарата частной мегагруппировки медленно сходятся в плоскости с орбитальной станцией «Меридиан» — там работает её дочь Майя. На Земле Нина растит внука Томаса, потерявшего отца, и не разговаривает с дочерью, ушедшей «наверх, где чисто». Утренний сеанс обрывается на полуслове. В небе запускается то, чего ждали десять лет. Повесть о матери у пульта, о трёх поколениях под одним небом и о цене непрочитанных предупреждений.

© Сероусов Э., 2026

© Автор, 2026

# Содержание

Часть первая. Тихое небо	5
Часть вторая. Беззвучно	10
Конец ознакомительного фрагмента.	11

# Эдуард Сероусов

## Каскад

### Часть первая. Тихое небо

*POV: Нина*

Без двадцати шесть зал ещё спал той особой тишиной, какая бывает только в помещениях без окон, где время держится на договорённости. Нина Раскова сидела перед своей колонной экранов, и синий свет ложился ей на лицо снизу, как свет из проруби. На третьем мониторе ползли траектории — тонкие зелёные нити, расходящиеся и сходящиеся в пустоте, которую люди зачем-то называли пустотой.

Среди штатных нитей было две чужих.

Она увидела их не глазами — глаза давно перестали быть главным её инструментом, — а тем нижним, дочеловеческим чутьём, которое отличает работу от ошибки прежде, чем сознание успеет назвать причину. Две нити шли неправильно. Не опасно-неправильно, ещё нет. Просто их геометрия имела ту аккуратную, безличную грацию, с какой две капли на стекле, ещё не касаясь, уже решили слиться.

«Гелиос». Сорок первый и сорок четвёртый аппараты новой группировки. Высота пятьсот двадцать, наклонение пятьдесят три.

Нина потянулась за кофе и поняла по запаху, что он остыл, — поставила обратно. На тыльной стороне её левой ладони синей ручкой были записаны три числа: остаток с вечера, незаконченный расчёт, который она не доверила ни одной машине, потому что машины в эту контору ходили те же, что писали прогнозы окупаемости.

Тридцать лет она считала чужие траектории. Сперва — для дальней связи, когда спутников было мало и каждый знали по имени, как соседей. Потом их стало много, потом слишком много, потом столько, что счёт перестали вести люди и стали вести машины, а потом и машины начали захлёбываться. И где-то на этом пути небо перестало быть для всех тем, чем осталось для Нины: тесной, хрупкой, перенаселённой коммунальной квартирой, где у каждого жильца — скорость восемь километров в секунду и никаких тормозов. Для всех остальных небо было по-прежнему бесконечным. Двором, куда свозят что хотят и не убирают за собой, потому что двор большой и всё как-нибудь рассосётся.

Не рассасывалось. Нина знала это лучше всех на планете и десять лет говорила это вслух, и десять лет ей отвечали одно и то же.

Она открыла окно сближений и набрала запрос. Пока считалось, в зале тикали её часы — старые, механические, на стальном браслете. Отцовские. Отец был метеорологом старой школы, из тех, что выпускали шары-зонды и читали небо по барографам, и всю жизнь предсказывал то, что нельзя остановить, и оттого, наверное, пил. Он подарил ей эти часы в день, когда она поступила в институт, и сказал одну вещь, которую она тогда сочла стариковским ворчанием, а теперь повторяла себе каждое утро: «Доверяй тому, что тикает само. Сеть тебя обманет — она живёт, пока её кормят. Пружина не врёт. Пружину завёл — и она тикает, хоть весь мир погасни». Часы тикали поперёк всех цифровых табло зала, и этот звук был единственным во всём ЦУПе, который ничего не брал из сети.

Результат развернулся.

Вероятность опасного сближения сорок первого и сорок четвёртого: ниже порога. Пока. Но кривая роста шла не так, как успокаивающе обещала презентация полугодовой давности. Кривая шла так, как Нина писала в докладе, который ей вернули с резолюцией «нерентабельная паника» — два слова, выведенные чужой рукой наискось через титульный лист.

Она помнила тот комитет. Большой зал, светлый, с панорамой на стартовый комплекс — нарочно светлый, чтобы внушать оптимизм. Она докладывала двадцать минут, графики, проекции, три сценария, и под конец сказала простую вещь: ещё одна большая группировка в слое пятьсот — шестьсот километров переводит систему за порог, и тогда процесс пойдёт сам, без нас, и его нельзя будет остановить. А потом встал человек из заднего ряда — лёгкий, улыбочивый, в дорогой простоте, и зал повернулся к нему весь, как подсолнухи. Олдрик Восс. Он не спорил с её цифрами. Он сказал, мягко, почти ласково: «Госпожа Раскова считает обломки. Похвально. Но прогресс всегда пугал тех, кто считает риски вместо возможностей. Луддиты ломали станки, потому что видели в них угрозу, а не будущее. Я предпочитаю строить будущее. Каждый день, пока мы осторожничаем, где-то умирает человек, до которого не дозвонились». И зал заплодировал — не ему даже, а себе, своему праву не слушать. Слово «луддитка» приклеилось к ней в кулуарах к вечеру.

— Опять «Гелиос»? — За плечом возник Глеб Мостовой, руководитель полётов, с большой кружкой, на которой облез логотип давно несуществующей экспедиции. От него пахло аэродромом — выстуженным металлом и кофе из автомата. Он был старый, как и она, из той же вымирающей породы людей, что помнили небо пустым; и он давно перестал верить, что что-то можно изменить, и эта усталость в нём была хуже, чем глупость, потому что глупость хотя бы спорит.

— Сорок первый и сорок четвёртый, — сказала Нина. — Они в одной плоскости с «Меридианом». Все трое в одном слое.

— Они в трёхстах километрах друг от друга, Нина.

— Сегодня. — Она не повернулась. — Слой узкий, Глеб. Все туда лезут, потому что там вид хороший и продавать удобно. Группировки, станции, твоя дочь — простите, моя дочь. В одной оболочке.

Глеб отхлебнул. Помолчал ровно столько, сколько молчат, когда нечего возразить и не хочется соглашаться. Он поставил кружку прямо на её стол, на белое кольцо от прежних кружек, — этот жест повторялся годами, маленький, домашний, и был, наверное, единственной формой нежности, которую он себе позволял.

— Я подам запрос на коррекцию орбиты сорок четвёртого, — добавила Нина. — На всякий.

— Восс не будет корректировать на «всякий». У него по графику ввод ещё двенадцати аппаратов. Коррекция — это топливо, это сдвиг, это минус из пресс-релиза. — Он смотрел не на экран, а на неё, и в глазах его была та усталая жалость, с какой смотрят на человека, который снова идёт биться головой в стену, потому что не умеет иначе. — Подай. Я подпишу. Но ты знаешь, что мне ответят.

— Знаю. — Нина обвела сорок четвёртый красным. Маркер распустился на экране, как капля чернил в воде. — Мне отвечают одно и то же десять лет. Что я считаю обломки. Как будто это диагноз.

— А ты их считаешь, — мягко сказал Глеб.

— Кто-то должен. — Она наконец подняла на него глаза. — Глеб. Когда-нибудь окажется, что считала я правильно. И в этот день мне очень не захочется быть правой.

Он не ответил. Допил кофе и ушёл, оставив кружку на её столе, на кольце.

Дома пахло разогретой кашей и восковыми мелками.

Нина жила в той части города, где дома стояли близко и фонари горели через один, и в шесть сорок утра кухня была единственным освещённым прямоугольником на весь подъезд. За столом сидел Томас, семи лет, в пижаме с поблёкшими ракетами, и сосредоточенно топил ложкой островки хлопьев, как будто это входило в его обязанности.

Четыре года она растила его одна. Не совсем одна — была школа, была соседка Вера, был режим, расписанный по часам, как полётное задание, — но по сути одна, потому что у этого мальчика была мать в пятистах двадцати километрах над головой и не было отца нигде, и Нина давно перестала отделять в себе бабушку от матери. Она водила его к врачу и на продлёнку, знала, какой бок у подушки он любит, и какие сны его будят, и что он не ест варёный лук, но согласен на жареный, если не говорить, что это лук. Это и была материнская работа — мелкая, бесконечная, невидимая, та самая, которую Нина тридцать лет делала для чужих спутников и не делала для собственной дочери.

— Бабушка, а когда мама прилетит?

Вопрос был задан буднично, между двумя ложками, и оттого ударил точнее, чем если бы мальчик плакал.

— Скоро. — Нина налила себе чая, который не собиралась пить. — У неё длинная смена.

— Длиннее, чем в прошлый раз?

— Немного.

Она знала график до минуты. Майя пробудет на «Меридиане» ещё девяносто один день. Это было записано у Нины не на ладони, а глубже, там, где живут числа, которые не стираются водой. Девяносто один день. Сказать их вслух значило признать, что мать ребёнка выбрала пятьсот двадцать километров вертикали вместо пятисот метров горизонтали до этого кухонного стола.

— А она нас видит оттуда? — Томас задрал голову, будто потолок мог стать прозрачным.

— Когда пролетает над нами — наверное, видит. Город сверху как россыпь огней.

— А она знает, какой огонёк наш?

Нина села напротив него. Иногда дети задают вопросы, на которые нет хорошего ответа, и нужно решить — солгать красиво или промолчать честно.

— Думаю, она его ищет, — сказала Нина. Это была не ложь.

Томас обдумал это и, видимо, остался доволен. Слез со стула, прошлёпал к рюкзаку и вернулся с листом, сложенным вчетверо, по сгибам уже мягким от ношения.

— Это маме. Передашь по радио?

Нина развернула. Восковым жёлтым — солнце в углу, лучи как растопыренные пальцы. Под солнцем три фигуры, держащиеся за руки: большая, средняя и маленькая. Над средней — он подписал коряво, прыгающими буквами — «МАМА», над большой «БАБУШКА», над маленькой просто «Я».

Он всегда рисовал одно и то же. Солнце и три фигурки. Менялись только размеры солнца и количество лучей; фигурки стояли неизменно, держась за руки, год за годом, как заклинание, которое, если повторять достаточно часто, однажды сбудется.

— По радио картинку не передать, — сказала Нина, и голос у неё сел. — Но я скажу маме, что ты её нарисовал. Я опишу.

— Опиши хорошо, — серьёзно велел Томас. — Скажи, что солнце большое.

— Скажу, что солнце большое.

Она аккуратно сложила лист обратно по сгибам и положила во внутренний карман, к сердцу, где обычно лежали бумаги, которым она не доверяла машинам.

Окно связи открылось в семь двенадцать и должно было держаться девять минут.

Нина сидела в маленькой кабине рядом с операторским залом, где разрешалось личное. На пульте дрожал зелёный огонёк несущей. Полсекунды задержки превращали разговор в обмен телеграммами: ты говоришь и ждёшь, пока твои слова поднимутся на пятьсот двадцать километров и спустятся обратно уже её словами.

— «Меридиан» на связи. — Голос Майи пришёл сквозь статику, истончённый расстоянием, но это был её голос, и Нина прикрыла глаза. — Привет, мам.

— Привет. Слышимость хорошая.

— У нас тут хорошая. У нас тут вообще всё прекрасно, врать не буду — вид отличный, соседи тихие, только один умер в прошлом веке и до сих пор летает мимо. — Майя усмехнулась; она всегда так шутила, висельно, по-командирски, и в этой шутке было ровно то, что было всегда: тепло, натянутое на что-то, о чём они не говорили четыре года. — Аня вон в иллюминатор не наглядится. Новенькая. Я ей говорю: насмотришься ещё, тут на каждом витке по два рассвета, к третьему дню начнёшь рассветы прогуливать.

— Как смена?

— Длинная. — Пауза, не от задержки. — Как Томас?

И они подошли к краю и не прыгнули, как всегда. Между ними лежала зима четырёх-летней давности. Майя с Андреем уехали тогда жить «по-настоящему» — в глушь, в дом без соседей, где тишина и звёзды и ни одной палки связи на сорок минут вокруг, и оба смеялись над городскими, которые без сети не могут шагу ступить. А потом Андрею ночью стало плохо — сердце, молодое, никто не ждал, — и Майя сорок минут гнала по разбитой дороге в темноте, держа руль одной рукой и тыча в мёртвый телефон другой, и ни одной палки, ни одной, и когда довезла, везти было уже некого. А Нина в ту ночь была в столице. Давала показания комитету. Об орбитальном мусоре, об этом самом слое, о том, что небо переполнено, — и комитет её слушал вполуха, и она опоздала на похороны зятя на четыре часа, потому что говорила в пустоту о хрупкости связи ровно тогда, когда хрупкость связи убивала её семью. После этого Майя ушла наверх. Туда, где, по её словам, «чисто». Туда, откуда до сына — пятьсот двадцать километров и девяносто один день.

— Томас в порядке, — сказала Нина. — Он передаёт тебе рисунок.

— По радио? — В голосе дрогнула улыбка.

— Я опишу. Солнце, лучи. И три человечка за руки. Ты, я и он. Он велел сказать, что солнце большое.

Молчание. Полсекунды задержки, и ещё несколько секунд сверх задержки.

— У меня тут такой же приклеен, — сказала Майя тихо. — Аня нашла в посылке, я повесила у поста. Он же всё одно и то же рисует, да? Три человечка. — Голос её стал очень ровным и очень точным, и в этой точности проступило что-то от Нининой собственной интонации. — Скажи ему, что я вижу солнце шестнадцать раз в сутки. И каждый раз...

Зелёный огонёк мигнул. На пульте побежала строчка: окно закрывается, потеря несущей через тридцать секунд.

— Майя. Майя, окно уходит.

— ... думаю, что пора домой, — успела она. — Мам, я тут подумала. Когда вернусь, давай поговорим. По-настоящему. Не как два диспетчера на сеансе. Я уже...

Несущая упала. Зелёный огонёк погас. В кабине стало так тихо, что Нина услышала собственные часы.

Она сидела ещё минуту, держа руку на холодном тумблере, и думала о том, что «когда вернусь» — это девяносто один день, и что её дочь второй раз в жизни почти сказала ей главное и второй раз не успела.

В девять сорок Глеб поставил кружку ей на стол — на то же кольцо — и не ушёл, и по тому, как он не ушёл, Нина начала считать заново прежде, чем он раскрыл рот.

Она открыла окно сближений.

Сорок первый и сорок четвёртый сошлись на расчётах за ночь. Точнее — сошлась их вероятность. Коррекцию так и не дали; вместо неё сорок четвёртый увело солнечным давле-

нием на панели, на которое в гонке за дешевизной поставили слишком большой парус. Граммы тяги за виток. Но граммы тяги за виток превращаются в километры, а в этом слое километры были всем.

Кривая полезла к порогу.

Нина смотрела, как растёт число, и горечь, привычная горечь правоты, которую не слышат, вдруг сменилась холодом. Горечь — это когда ты прав, а тебя игнорируют. Холод — это когда ты понимаешь, что вот сейчас перестанет иметь значение, слышат тебя или нет.

На стене сбоку, на дежурном мониторе, который кто-то забыл выключить, беззвучно шла трансляция: Восс на сцене, в свете софитов, разводил руки, обнимая будущее. Бежала строка: «ГЕЛИОС: НОВАЯ ЭРА СВЯЗИ». За его спиной светилась эмблема группировки — стилизованное солнце, лучи как растопыренные пальцы. До отвращения похожее на рисунок в её кармане.

— Глеб, — сказала Нина ровно. — Подними мне трассу «Меридиана» на ближайшие шесть часов. И передай на «Гелиос», что я требую немедленный вывод сорок четвёртого. Не прошу. Требую.

— Что у тебя? — Он уже смотрел на её экран и уже понимал, и кружка в его руке остановилась на полпути ко рту.

— Порог, — сказала Нина. Взяла синюю ручку и записала вероятность на тыльной стороне ладони, поверх вчерашних трёх чисел, потому что этому числу она тоже не верила машинам. — Они столкнутся. Не «могут». Столкнутся. Здесь. — Она ткнула пальцем в точку, где красная нить сорок четвёртого пересекала зелёную плоскость слоя. — В слое, о котором я пишу вам десять лет. В том самом, где моя дочь.

Секундная стрелка её часов прошла полный круг, пока никто в зале не сказал ни слова. На стене беззвучно аплодировал зал Воссу, и тот кланялся, и эмблема-солнце разбрасывала лучи, как растопыренные пальцы, как на детском рисунке, как на том, что был приклеен сейчас у поста её дочери в пятистах двадцати километрах над сходящимися нитями.

## Часть вторая. Беззвучно

*POV: Майя*

На «Меридиане» было утро — то есть был тот из шестнадцати рассветов, который Майя про себя назначила утром, чтобы не сойти с ума без верха и низа. Солнце входило в купол наблюдательного модуля медленно и страшно красиво, скользя по приборным панелям полосой расплавленного золота, и через девяносто минут должно было войти снова.

Майя Раскова плыла вдоль поручня к своему посту, и рисунок плыл рядом с ней — детский лист, приклеенный скотчем к панели у командирского места. Солнце и три фигурки. Не её рисунок: Аня нашла его в почтовом контейнере с Земли, в посылке, и Майя сказала «это так, ерунда», и забрала, и приклеила. Томас всегда рисовал одно и то же и слал наверх с каждой оказией, будто боялся, что мать забудет, как они стоят вместе. Край листа уже завернулся от сухого станционного воздуха, и она машинально его пригладила, проплывая мимо, — тем самым движением, каким на Земле приглаживают вихор на затылке ребёнка.

— Командир, кофе будешь? — Маркус Лунд, бортврач, висел вниз головой относительно Майи у кофейного автомата, и это было нормально, потому что «вниз» здесь не значило ничего. Большой, спокойный, с руками, которые одинаково уверенно зашивали и чинили. Он был на станции дольше всех и относился к ней, как пожилой терапевт к участку: знал, у кого что болит, кому когда станет тоскливо, и держал в личном шкафчике запас настоящего, контрабандного, не сублимированного шоколада «на сердечные показания». — Я сварил почти как на Земле. То есть отвратительно, но привычно.

— Давай отвратительно. И «по показаниям» тоже давай, у меня сегодня показания.

— У тебя каждый вторник показания. — Но он уже толкал ей через модуль и шарик кофе, и квадратик шоколада следом, точно и лениво, и она поймала оба. — Скучаешь по мелкому?

— Командир по уставу не скучает, — сказала Майя, и съела шоколад, и это было «да».

Где-то снизу Луис Феррейра, бортинженер, что-то напевал себе под нос в техническом отсеке — мелодию без слов и без начала, как он напевал всегда, когда работал руками. Луис чинил всё. У него были золотые руки и абсолютное отсутствие нервов: то, что других вгоняло в панику, его вгоняло в задумчивость. Внизу, на Земле, его, по собственному признанию, ждали «долги и кот», и про кота он говорил чаще, чем про долги, и подозревал, что соседи его перекармливают, и был этому скорее рад.

— Луис, ты опять «ту самую» напеваешь, — крикнул Маркус в шахту. — У неё есть название?

— Если б у неё было название, — отозвался Луис, не прерывая работы, — её можно было бы доиграть. А так она бесконечная. Очень удобно.

У иллюминатора внешнего обзора висела Аня Соколова, новенькая, прилипнув к стеклу, и в шестнадцатый раз за сутки не могла оторваться от того, как под ними поворачивается Земля. Аня в детстве выучила небо наизусть, по атласу — знала спутники по бортовым номерам, орбиты по периодам, помнила, какой аппарат над каким океаном висит, — и теперь смотрела на собственную детскую карту вживую и всё не верила, что попала внутрь неё. Она была серьёзная до смешного, отличница, и Майя её за это любила и щадила: давала смотреть в иллюминатор, когда могла бы загрузить работой, потому что помнила, как сама в первый раз увидела сверху грозу — изнутри, как живой сгусток света в тучах, — и как это перевернуло в ней что-то навсегда.

В наушнике щёлкнуло. Голос с Земли — не диспетчер смены, а запись, переданная не по тому каналу, приглушённая, словно её совали в щель между штатными сообщениями:

## **Конец ознакомительного фрагмента.**

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.